

Дмитрий
Мережковский

ЛИЦА

ЛЕВ ТОЛСТОЙ
И ДОСТОЕВСКИЙ
I

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Лица. Лев Толстой и Достоевский I / Д. Мережковский. — М.: Т8RUGRAM, 2018. — 494 с.

ISBN 978-5-521-78920-7

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Лица. Лев Толстой и Достоевский» — монография Д. Мережковского, в которой исследуется и сопоставляется творчество и мировоззрение двух русских гениев XIX века. В идейную основу работы легла дилемма о христианстве и язычестве, поиск синтеза между Ветхим и Новым Заветом. Эта книга, посвящённая борьбе двух начал в литературе — Божеского и Человеческого, в сочетании с удивительно образным языком будет интересна широкому кругу читателей.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-521-78920-7

© Т8RUGRAM, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	5
Предисловие.....	5
Глава первая.....	38
Глава вторая.....	108
Глава третья.....	185
 ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	 233
Глава четвертая	233
Глава пятая.....	288
Глава шестая	426

ЧАСТЬ I

ПРЕДИСЛОВИЕ

До последнего времени Л. Толстой никогда, собственно, не был нашим духовным вождем — в полном смысле этого слова, «учителем». Почему? — вот вопрос.

Между силою бессознательного творчества, тем, что мы называем «гением», с одной стороны, и силою сознания, ума — с другой, существуют различные степени соразмерности, согласованности, точно так же, как между физическим объемом тела, ростом человека и его мускульною силою. В существе Пушкина, Гёте соблюдена высшая степень этой соразмерности; духовное строение их подобно строению прекрасного человеческого тела: удивительно согласованно, пропорционально во всех своих частях и членах; вот почему такая легкость и свобода в их движениях: они управляют ими в совершенстве; свободно и легко носят себя, ходят, «точно летают». Этой-то соразмерности у Л. Толстого нет, или она у него есть только в низшей степени. Он недостаточно умен для своего гения, или слишком гениален для своего ума. Мускульная сила, которая легко носит людей среднего роста, оказалась бы недостаточной для великана: умствующий Л. Толстой и есть такой слабый великан, Голиаф, которого, рано или поздно, маленький Давид убьет камнем из пращи.

Эту неспособность к быстрым и легким движениям, эту неповоротливую тяжесть, грузность ума заметил в нем первый, как и многое другое, никем не замеченное, Достоевский. Толстой, говорит Достоевский, «несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а

потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как, во всяком случае, они всегда строго искренни». Далее называет он эту прямолинейность «исступленною». И по другому поводу, о свойственной не только Л. Толстому, но и русскому уму вообще, склонности к чрезмерному упрощению, «опрощению» всего: «Простота, — замечает Достоевский, — прямолинейна и сверх того высокомерна. Простота — враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета; даже не видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно переходит в фантастический».

Когда Л. Толстой доказывает «ничтожность знаний опытных»; когда утверждает он, что все открытия современной науки, от Ньютона до Гельмгольца, все эти, как он выражается, «исследования протоплазм, форм атомов, спектральные анализы звезд» — совершенные «пустяки», «ни на что не нужная чепуха», «труха для народа», по сравнению с истинною наукой «о благе людей» и о том, «каким топориком выгоднее рубить», «какие грибы можно есть»; что «вся наша наука, искусство — только огромный мыльный пузырь»; что «ни в какое время и ни в каком народе наука не стояла на такой низкой степени, на какой стоит теперешняя»; что она нечто вроде «талмуда», на изучении которого современные люди «вывихивают себе мозги»; — когда Л. Толстой все это утверждает, то он именно «прет в одну точку», не умея повернуть шею «ни направо, ни налево». Во всем этом есть, конечно, простота и прямолинейность; но простота «фантастическая» и прямолинейность «исступленная». После таких отзывов о науке никого уже не могло особенно удивить то, что Шекспир оказывался «дюжинным талантом»; что крестьянский мальчик Федька превзошел в

своих сочинениях не только самого Л. Толстого, но и Гёте; что в произведениях Боккаччо нет ничего, кроме «размазывания половых мерзостей»; что Наполеон — дурачок, а древние греки — «полудикий рабовладельческий народец, очень хорошо изображавший наготу человеческого тела и строивший приятные на вид здания», «но мало нравственно развитый»; что всякая женская нагота, хотя бы Венеры Милосской — «безобразна»; что все «картины, статуи, изображающие обнаженное женское тело и разные гадости», что все «существующее искусство, которое имеет только одну определенную цель — как можно более широкое распространение разврата» следовало бы «уничтожить», — «лучше пускай не будет никакого искусства», ибо надо же, наконец, когда-нибудь избавиться от заливающего нас «грязного потока этого развратного, блудного искусства». Образованные русские люди, вообще довольно терпеливые и ко всему легко привыкающие — за сорок лет с лишком, в течение которых прислушивались к подобным отзывам Л. Толстого, успели привыкнуть к ним и обтерпеться. Только чересчур наивные или невоздержанные противники его все еще спорили, горячились; прочие давно уже поняли, что бесполезно спорить о том, есть ли книгопечатание, как утверждает Л. Толстой — «сильнейшее орудие невежества», и можно ли сравнивать музыку Бетховена с песнями деревенских баб.

Всего менее сердились, кажется, именно те, на кого направлена была отрицательная проповедь Л. Толстого: слишком чувствовалось, что, хотя отрицает он все основы культурного мира — науку, искусство, собственность, государство, церковь — с такою «неистовою прямолинейностью», что, казалось бы, мир должен рушиться, — вся сила этого отрицания идет все-таки мимо жизни, прочь от жизни, и что, если Великая Революция зажглась от гораздо менее дерзкого вольнодумства XVIII века, то все же из толстовского анархизма никогда никакой революции не выйдет; — не даром же все у него кончается буддийским «неделанием», «непро-

тивлением»: жестко стелет, мягко спать. Оглушительные холостые выстрелы, исполинские хлопушки.

«Я совсем озлился тою кипящею злобою негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей», — признается один из очень юных и очень искренних героев Л. Толстого, герой наивнейшего, во вкусе Жан Жака Руссо, но вместе с тем уже толстовского анархического бунта. «Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар (дело происходит в заграничном отеле) не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею». Еще недавно, по поводу злобного возражения на одну из его последних статей, семидесятилетний Л. Толстой признавался с тою же простодушною искренностью: «Статья эта доставила мне удовольствие. Так и чувствуешь, что попал в самую середину кучи муравьев, и они сердито закопошились». Иногда, впрочем, он и сам опоминается и, устав «переть в одну точку», поворачивается, наконец, «всем телом, всем корпусом» и вдруг, замечая, вместо предполагаемой ярости, добрую усмешку на человеческих лицах, признается все с тою же трогательною откровенностью: «Им всем стало неловко; как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь!». Да, есть что-то бесконечно трогательное в этой способности великого старика быть вечным ребенком: по бессознательной мудрости, по глубочайшему прозрению в тайны животной жизни, ему как будто не семьдесят, а семьсот лет; а по уму, по сознанию — все еще семнадцать или даже семь лет; как будто и доныне он тот же самый Левуш-

ка, который, желая лететь и бросившись из окна классной комнаты, едва не сломал себе шею.

И вот все вдруг изменилось: игра становится трагической; заветная мечта его исполняется: он — пророк и учитель, ну, если не всего русского народа, то, по крайней мере, культурного общества.

Положение дел таково: соединившись под знаменем Л. Толстого, образованные русские люди восстали во имя свободы мысли и совести на мертвую догматику и схоластику, на дух тьмы и невежества, сказавшиеся, будто бы, в определении Синода, принятом всеми, как утверждает, по крайней мере, сам Л. Толстой, не за простое «свидетельство об отпадении», а за настоящее, хотя и скрытое «отлучение от церкви», за своего рода церковную «анафему».

Дабы такое положение дел оказалось не мнимым, а истинным, необходимо соблюдение одного условия: единомыслие учителя и учеников в понимании того, во имя чего собственно и соединились они под общим знаменем, то есть в понимании истинного просвещения. Судя по одному, правда, довольно скользкому намеку, в «Ответе Л. Толстого Синоду», можно бы подумать, что подобное единомыслие существует и всегда существовало: «Постановление Синода, — говорит он, — произвольно, потому что обвиняет одного меня в неверии во все пункты, выписанные в постановлении, тогда как не только многие, но почти все образованные люди разделяют (надо подразумевать: разделяют со мною) такое неверие и беспрестанно выражали и выражают его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и в книгах». Для того, чтобы слова эти имели решающую силу искренности в наших глазах, — или нам должно забыть всю сорокалетнюю литературную и проповедническую деятельность Л. Толстого, или ему отречься от главного смысла всей этой деятельности. Мы ведь знаем, что до сей поры для него вся наша образованность, наука, искусство были только «мыльным пузырем», «ни на что не нужною чепухой» и что мы сами,

образованные люди, «жрецы науки и искусства», всегда казались ему «дрянными обманщиками, имеющими на свое положение гораздо меньше прав, чем самые хитрые и развратные жрецы». Если это так, — а ведь Л. Толстой от этого не отрекается, — то как же не побрезгал он соединиться с нами против церкви, с одними обманщиками — против других? Отрицание православия, как одной из культурно-исторических форм христианства, понятно в общем ходе мыслей Л. Толстого: это отрицание — только звено целой цепи его отрицательных выводов относительно всей вообще современной европейской культуры; здесь церковь отрицается не как нечто стоящее вне культуры и ей противоположное, а именно как часть всей этой ложной культуры, другие части которой суть наука, искусство, собственность, государство.

Соединяясь так безвозвратно с тем, кто отрицает сущность культуры, не подвергается ли и русское культурное общество опасности отречься от своей собственной сущности, от своего единственного права на существование?

Люди могут вступать в прочный внутренний союз только во имя какого-нибудь утверждения, во имя какого-нибудь «да»; но союз во имя одного отрицания, без всякого утверждения — всегда внешний, случайный и временный: из ничего ничего не выходит. Из какого-нибудь общего «да» возникает и общее «нет»; но из «нет» не может возникнуть общего «да». Люди ненавидят одно, если они любят одно; но если они любят разное, то и ненавидеть могут только разное, даже тогда, когда им кажется, что они ненавидят одно. В союзе русских людей с Л. Толстым есть общее «нет» — отрицание православия — без всякого общего «да» — утверждения новой формы христианства; есть единство в отрицании без всякого единства в утверждении. А потому и самый союз этот — внешний, случайный и временный, не столько союз, сколько встреча. Кажется, сам Л. Толстой сознает это, по крайней мере, чувствует; кажется, даже проговаривается об этом. В «Ответе Синоду» есть одно слово ужасающей ис-